

«Загадочное соединение редко соединяемого: лёгкая интонация – и «достоевские» вопросы бытия, ирония – и тут же сострадание, вереница колоритных, но вроде необязательных мелочей – а за ними сюжет».

*Марина Москвина*

МАРИНА



# Муравьёва



Жизнеописание  
грешницы  
Адели

Ирина Муравьева

**Жизнеописание грешницы  
Аделы (сборник)**

«ЭКСМО»

2011

## **Муравьева И. Л.**

Жизнеописание грешницы Аделы (сборник) / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2011

На земле, пропитанной нефтью, иногда загораются огни, которые горят много десятков лет, и их погасить невозможно. Так же и в литературе – есть темы, от которых невозможно оторваться, они притягивают к себе и парализуют внимание. К одной из таких тем обращается Ирина Муравьева в неожиданной для её прежней манеры повести «Жизнеописание грешницы Аделы». Женщина, в ранней юности своей прошедшая через гетто, выработала в душе не страх и извлекла из своего сознания не робкую привычку послушания, напротив: она оказалась переполнена какой-то почти ослепительной жизненной силой. Талант опереточной актрисы – не более чем слабое отражение её незаурядного жизненного таланта, настолько же яркого, насколько и злого, и мелочного настолько же, насколько и великодушного. Характер Аделы – это характер почти запретный, поскольку если такому характеру было бы позволено распространиться на земле, всё наше существование на ней состояло бы исключительно из жертв, из страстей и желания мести. Тем более странно, что Муравьевой удаётся убедить читателя в том, что этой её героине, написанной на стыке гротеска и беспощадной точности, знакома любовь...

© Муравьева И. Л., 2011

© Эксмо, 2011

## Содержание

Жизнеописание грешницы Аделы	5
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Ирина Муравьева

## Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)

### Жизнеописание грешницы Аделы

Был хороший провинциальный город, зеленая и мирная австрийская провинция. Явились румыны в своих этих шапках, усатые, смуглые, без церемоний. Сказали, что это – их город. Ну, пусть. Как жили, так жили. Румыны, австрийцы... А куры на рынке – все те же, петрушка – все та же.

Еврейские мальчики учились в австрийской гимназии – как она была австрийской, так и осталась, – читали Гомера, зубрили Горация. Кричали друг другу на чистой латыни: «Veni! Vidi! Vici!» А после дрались беззаботно. Ходили к молочнице, маленькой, доброй и сморщенной, вроде подгнившего яблока. Молочницу звали фрау Гавричек. Когда бы она дожила до сегодня, ей было бы... сколько? О, много. Не меньше, чем сто пятьдесят. А жаль, что она померла. Когда помирают такие вот тихие, смиренные люди, особенно грустно: добра в жизни меньше.

У фрау Гавричек был подвал, заставленный банками с молоком. Молоко сворачивалось, потом становилось сметаной и творогом. Мальчики в серых гетрах и тяжелых башмаках играли на поле в футбол. Зеленое поле пропахло их потом. Фрау Гавричек приставляла ладонь к глазам и звонко кричала:

– Попить не хотите?

Мальчики вытирали пот под волнистыми волосами; хрипя и откашливаясь, бросались в студеный подвал.

– Ах, мейн Готт! – восклицала фрау Гавричек. – Вы все мне побьете! Мейн Готт!

В подвале доставала белые кружки, доверху наполняла их свежим кефиром. Переступая своими тяжелыми башмаками, мальчики пили солидно, большими глотками. Потом убегали обратно на поле.

Адела слушала рассказы об умершей к тому времени фрау Гавричек в таком же подвале. Рукой прикрывала звезду на нестираной кофте. Звезда была желтой, а грудь – сильной, жадной, большой, выразительной лепки. И все было сильным, особенно взгляд – чернее парных вечеров Буковины, когда ни звезды, ни луны, только шум: не то это ветки шумят по дубравам, не то на горах, скрытых мраком, резвятся кудрявые ангелы – мертвые детки. В подвале Аделу и мать вместе с отчимом спрятала молдавская семья. Еще одни добрые люди. Адела однажды припала губами к руке молдаванина. Рука была черной, в больших заусенцах. Старик-молдаванин немного смутился.

– Зачем вы нас прячете? Вас же убьют! – сказала Адела.

– Успеешь еще умереть. Молодая, – сказал молдаванин.

В подвале прожили три года. За это время ненависть к тем, из-за которых она три года не видела солнца, стала такой горячей, что Аделе никогда не бывало холодно. Чем больше ты их ненавидишь, тем жарче. С таким вот нутром вышла из подземелья. Красавица – вся, только росту большого. И ноги большие, и руки. А кудри! Из этих кудрей свить петлю да набросить на шею коня – конь повалится сразу.

Войны уже не было. Немцев прогнали, румынов прогнали. Осталась родная советская власть. Однако базар был все тем же, петрушка все та же. Кур резали так, как Марат с Робес-

пьером своих неугодных французских сограждан: головку на плаху – и нету головки. Бежит по базару багровая птица, из шеи фонтанчик. Куда ты, наседка? Тебя больше нету!

Адела же пела, училась вокалу. Прекрасный был голос, густой и богатый. Вокруг говорили: «Дай Бог ей здоровья! Наверное, станет московской певицей!»

В Москву Адела поехала поступать в консерваторию. В Москве тогда жил ее брат. Когда-то он очень несчастно женился, страдал, но весной того года судьба пожалела его: встретил девушку. Теперь нужно было бы снова жениться, но как, если нету развода?

Иногда кажется, что многие люди появляются на свете случайно. Вот, скажем, война, и какой-нибудь Фридрих спит с русой какой-нибудь девушкой Нюрой. А может, не Фридрих с ней спит. И не с Нюрой. Но звезды на небе вдруг вздрогнут: случилось! Сменяются три быстрых времени года: простреленный Фридрих гниет в чистом поле, а Нюра пугливо качает младенца. Случайность? Да как посмотреть... Вот и здесь похожая история. Старший брат Аделы случайно оказался в Москве. Он оказался в Москве, а в это же самое время его одноклассников, голых, костлявых, сгоняли в просторные камеры «мыться». Не всех. Потому что другие кричали: «За Родину-у-у-! У-у! За Сталина-а-а! А-а!» Одни докричали, другие сгорели. Но так всё на свете: один прогорает, другой проедает, а после – все вместе, и кости смешались. Чернеет земля, орошенная ливнем.

Аделин брат прямо с фронта был отправлен в Сибирь, где долго валил русский лес на морозе. Считался, однако, не эзком, а ссыльным. И в той же Сибири прибился к семейству. Его подкормили, его приласкали. В семействе две дочки. Окончили школу, а тут и война. Собрались, поехали в эвакуацию. О грустная, грустная жизнь человечья! Подхватит тебя, как песчинку, и ветром, и бурей, со стоном и звоном уносит куда-то. Вернешься? Кто знает... Молись и терпи.

Обласканный брат очень вскоре женился на младшей, Ревекке, родил с нею сына, и все они вместе вернулись в Москву. Младенец был худеньким, голубоглазым, отец грел его на вокзалах дыханьем.

Еще прошло время. Москва, все чужое. Ревекка не любит его, он – Ревекку. Ребенок растет, очень худенький, хрупкий. И вдруг эта девушка с ласковым смехом... Но главное: взгляд, светло-серый, целебный. Он начал метаться от девушки к сыну, потом заявил, что уходит из дому. Тесть, маленький, умный, в атласной ермолке, сказал, что раз так – сына он не увидит. А тут ко всему приезжает Адела. Ревекка не очень страдала. Ревекка была равнодушна и к браку, и к мужу, и к дому, и к сыну, но музыку искренно, страстно любила. Поэтому когда он, наполовину ушедший от жены, от отца жены, от матери жены, от старшей сестры жены и только не знающий, как же быть с сыном, сказал, что Адела приедет учиться, Ревекка, жена, равнодушная к мужу, сказала, что в *этом* всегда ей поможет.

Но именно в консерватории, то есть в самой что ни на есть сердцевине возвышенного, и случился тот скандал, который изуродовал Аделину жизнь. В приемной, где сидели молодые юноши и девушки в ожидании прослушивания, одна из этих совсем молодых, свежих девушек, которых судьба еще не обижала, вдруг громко сказала в затылок Аделе:

– А эта жидовка что здесь потеряла?

И тут же настало возмездие. Большая, белее, чем снег Буковины, Адела, обернувшись, так мощно обрушилась на тщедушную, в лимонных кудрях, слаборукую девушку, что кровь, хлынувшая из этой девушки, покрасила мокрым и жирным ковер (который был красным, но много бледнее), и грудь слаборукой, и всех, кто вмешаться хотел в это дело. Она избила свежую девушку с такою недевической яростной силой, как будто вернулись все те, кто хотел, чтоб мать и Адела, и отчим Аделы остались навеки в молдавском подвале.

Вызвали милицию. В консерватории, где люди должны услаждать друг друга звуками Моцарта и Бетховена, случилось буквальное кровопролитие. Аделу впихнули в большую машину, и брат ее был вскоре вызван в милицию. Могли посадить, могли дело затеять: с лимон-

ными пряжами, та, слаборучка, лежала в медпункте и громко стонала. Но брат был уже москвичом: сунул взятку. Аделу вернули в семью. А вечером брат и Ревекка с ее очень выпуклым пристальным взглядом простились с Аделой уже на вокзале. Вернулась к себе, в город тихий, зеленый. Вокалу училась в училище. Ночами ей снились румыны и немцы, но часто бывало, что русские тоже. Солдаты с овчарками, рельсы, вагоны... Она просыпалась в слезах и стонала.

В эту зиму за нею начали вовсю ухаживать молодые люди, поджидали ее возле училища, поигрывали мускулами. Но этих людей было, кстати, немного. Одних застрелили, другие сгорели. А девушки – что? Ну, беретик надвинут, ну, гребень какой-нибудь вставят в прическу, помада там, шпильки – а счастья ведь нету. Грызешь кукурузу с досады и плачешь.

Прошел почти год. По дороге в училище (Адела обычно ходила пешком) ее догнал сильный красивый военный. Сказал, что из Киева, в командировке. Глаза голубые, в глазах – одна наглость. Он взял ее под руку, нежно, но крепко. Недельку лежали на травах, на сучьях – весна расцветала вовсю, разгоралась, и всюду палило свирепое солнце, и мухи блестели своими телами. Лежали в любви, наслаждение, согласие, шептали какую-то глупость, кричали. Потом он исчез. Вроде в Киев уехал. А вскоре вернулся опять, но женатым. Увидел Аделу в трамвае и спрыгнул: на полном ходу, как какой-нибудь школьник.

Теперь по ночам Адела рисовала себе страшные картины. Вот она входит к ним в дом, достает нож и закалывается прямо у них на глазах. Они же при этом лежат на постели, грызут шоколад и едят мандарины. А то еще лучше: она подходит к его жене, которая стоит, склонившись над базарным прилавком, где разные яйца, укроп, помидоры, и острым ножом протыкает ей сердце. Жена тут же падает на помидоры. Хотелось, чтоб крови лилось очень много, но также и слез. Может, слез даже больше. И *он* чтобы очень рыдал. Это важно.

И вдруг появляется Бенья, бухгалтер. Лицо как лицо, рот большой, темно-красный, с как будто приклеенной нижней губой. Собой, правда, мелкий и ей до плеча, однако настырный, горячий, веселый. Сперва подарил букет белой сирени и газовый шарфик, потом еще что-то. А к слову заметить: тот, нежно любимый, совсем ничего не дарил, даже мыла. Адела все губы проела до крови, пока не сказала смущенному Бене:

– Пойдемте гулять с вами в горы. Хотите?

Конечно же, Бенья хотел. Она привела его прямо в то место, где месяц назад истекала любовью. Трава еще так и осталась примятой. Она сперва села на мятую траву, потом прилегла, опустила ресницы. И Бенья, пылая, лег рядом.

Он был смущен тем, что Адела оказалась не девушкой, и все поведение ее, отчаянное, с немалою долей брезгливости, злости, его оттолкнуло, но тело понравилось. Белее сметаны. Куда ни помотришь: колечки и кудри, пушок ярко-черный, жемчужинки пота. Лежит на траве, как картина в музее.

Спускаясь с горы, она, кажется, плакала. Прощаясь, на Бенью и не посмотрела. А через две недели брат, который по-прежнему жил в Москве, но уже по другому адресу и был очень счастлив в своей этой новой любви, новом браке, вдруг получил дикую телеграмму от матери: «Сестра отравилась жива ждет ребенка что делать целую».

Брат скомкал дикую телеграмму. Потом опомнился, расправил измятый листок и протянул его жене.

– Убью, – сказал брат молодым своим басом. – Позор на весь город.

– Пусть женится лучше, – вздохнула жена. – У них же ребенок родится, подумай!

От этого брат покраснел еще гуще.

Через двое суток он приехал в родной город. С вокзала явился домой. Мать припала к его груди; отчим обнял его через материнскую голову, левая щека у него мелко задрожала.

– Она сейчас где? – спросил сразу брат.

– Лежит третий день. И обедать не стала.

Брат вошел в комнату, где она лежала спиной к нему и лицом к стене, завернутая в простыню, как египетская мумия: на улице было почти тридцать градусов жары.

– Адя! – произнес брат.

Она махнула рукой, чтобы он ушел.

– Зачем ты поела коробку со спичками? – спросил ее брат.

– Зачем я поела? – грубо ответила она и рывком села на кровати, выставила свое горящее, с изломанными бровями лицо. – А что еще делать? Я жить не хочу.

– Чей это ребенок? – спросил ее брат.

Адела низко опустила голову. Несчастный ребенок мог быть чьим угодно: и Бенин, и этого, с командировки.

– Чей? Бенин, конечно, – ответила она.

– Тогда вы поженитесь, – строго сказал брат.

Она вскочила и, зажав рот рукой, выбежала из комнаты. Ее долго не было. Рокочущий звук шел откуда-то снизу, как будто Адела забилась под землю.

– Вот каждый раз так, – всхлинула мать. – Как только напомню о Бене, так рвота. Несчастливая девочка. Господи Боже!

– Где Бенья работает? – спросил брат.

Мать объяснила, где работает и как туда проехать. Адела вошла, бледная, с застывшим страданием в мокрых глазах. Брат вздрогнул всем телом: глаза не обманут. Он умылся и надел чистую рубашку. На раскаленном трамвае доехал до конторы, где крутолобий Бенья работал бухгалтером. Дождался, пока закончился рабочий день. Потом подошел к Бене так близко, что перемешались дыханья: тяжелое – брата и быстрое – Бени.

– Ты помнишь меня? – спросил он.

– Помню, Лейбл. Ты был меня старше, когда мы учились.

– А я и сейчас тебя старше. И я тебя, Бенья, убью: ты подлец.

– За что ты убьешь меня, Лейбл?

– А ты что, не знаешь?

– Не знаю, – сказал Бенья и опустил лоб, ставший белым, как вафельное полотенце.

– Она ждет ребенка! – стыдись даже облака в небе, сказал ему Лейбл.

– А я здесь при чем?

– А кто же при чем?

– Лейбл, – тихо сказал Бенья, – давай немного отойдем, и я тебе скажу всё, как было. Я у твоей сестры не первый, Лейбл.

Брат оттолкнул его, но Бенья не упал, только побелел еще больше.

– Я не говорю, что этот ребенок не мой. Он, конечно, может быть, и мой ребенок, но может быть, и нет. И что мне тогда?

– Ты женишься, Бенья? – спросил его брат.

– Но не потому, что я испугался тебя, Лейбл. – И маленький крепкий Бенья привстал на носках, чтобы сравняться ростом с высоким братом Аделы. – Я женюсь потому, что это *может* быть мой ребенок. Мы этого никогда не узнаем. Ни ты и ни я. Я женюсь.

И сразу же отвернулся, зашагал прочь. Лейбл посмотрел ему вслед, и собственное счастье, ждущее его в Москве, вдруг так обожгло изнутри ему душу, что он чуть не вскрикнул.

Свадьба была не просто скромной, ее – этой свадьбы – почти даже не было. Близкие люди посидели за столом, пообедали вкусно и разошлись: больно было смотреть на то, как Адела ненавидит своего мужа. Белое платье обтягивало ее огромную грудь и слегка выпирающий живот, лоб под черными тяжелыми волосами был мокрым от пота. Она вытирала лицо надушенным носовым платком, потом складывала этот платок во много раз и внимательно смотрела на него, как будто платок вот-вот заговорит.

В двенадцать пошли, легли спать. Бенья погасил лампу и вытянулся у стенки, на которой висел красивый ковер, помнивший времена Австро-Венгерской империи. Адела, не снявшая белого платья, лежала с ним рядом.

– Аделочка, – попросил Бенья, – ты лучше разденься. Помнешь свое платье.

– Иди лучше к черту! – громким шепотом ответила Адела. – Глаза бы мои на тебя не смотрели!

Бенья отвернулся от нее. Рыдание стало ломить ему горло и всю его грудь под майкой, пропитанной потом, поэтому он сжался под одеялом и замер, стараясь почти не дышать.

Семь месяцев до родов они жили в одной комнате, ели за одним столом и спали на одной кровати. Адела клала между ними большую пухлую подушку, чтобы горячим своим телом Бенья случайно не дотронулся до нее во сне. Один раз утром он почувствовал ее взгляд на своих ногах. Огромная, вот-вот готовая родить, Адела сидела на постели и, отвернув край одеяла, внимательно разглядывала пальцы его маленьких ног, слегка заштрихованные темными волосками.

– Нельзя так, – не оборачиваясь, сказала она. – Я видеть тебя не могу. Спи лучше в носках.

И, обернувшись, задрожала изломанными своими бровями и руки стиснула на груди так, что побелели костяшки:

– Ну, я умоляю! – И вся затряслась. – Я прошу тебя, Бенья! Спи лучше в носках.

Он стал спать в носках.

Ночью с первого на второе апреля на земле неожиданно потеплело, и птицы, которые прятались в небесной вышине, вдруг громко запели на голых деревьях. Бенья увидел во сне, что мама будит его для того, чтобы вести в гимназию, а он прячется от ее мокрой руки под одеяло и знает, что еще немного, и мама принесет из кухни ковшик с холодной водой и выльет всю воду на Бенину голову. Так оно и случилось. От воды он проснулся, вскочил, ничего не понимая, и тут только вспомнил, что мать умерла. И сразу увидел огромную женщину, лежащую рядом с ним на постели, из тела которой лилось что-то на пол, в то время как сама женщина выгибалась наподобие удава или какого-то другого редкого зоологического существа.

– Но я не хочу! – И рвала свои косы. – Рожать не хочу! Не хочу! Убирайся!

Бенья под проливным дождем побежал в больницу, и через полтора часа Аделу забрала машина «Скорой помощи». Бенья схватил попутку и помчался следом. Сидя в приемном покое, где отвратительно пахло хлоркой и нянечка пила чай с сухарями, обмакивая их в чашку и потом дую на размокший сухарь, как будто бы им можно было обжечься, он со страхом прислушивался к стонам и крикам, доносящимся из родильного отделения, пытаясь понять, не кричит ли Адела, но все эти крики и стоны смешались в такой адский звук – один, неделимый и дикий, – что Бенья подумал: а вдруг так у всех? Вдруг все так живут, ненавидя друг друга, и спят ночью тоже в носках или в брюках?

Адела не кричала. Она испытывала жгучее наслаждение от того, чтобы, стиснув зубы и до крови раскусывая нижнюю губу, себе не позволить ни крика, ни стона. Адела молчала, хотя из вытарщенных от боли глаз ее потоком лились слезы, и старшая акушерка, слегка удивленная такой терпеливостью, несколько раз отирала ее лицо влажным полотенцем. И только когда этот самый ребенок, которого она боялась целых девять месяцев, как можно бояться грозы или смерти, раздвигая ее тело и разрывая его, начал проталкиваться на волю, она закричала так страшно и хрипло, что врач подошел к ней и стал помогать.

– Да что я без вас, что ли, доктор, не справлюсь? – спросила его акушерка с обидой.

Потом стало тихо. Адела ждала.

– Ну, вот тебе: девка! – сказал потный доктор.

Младенца поднесли к самому ее лицу.

– Хорошая девочка. Чистая, видишь? У нас кесарята такими бывают. А эта – гляди! Как не мучилась...

Адела взглянула на девочку. Отвращение и ужас исказили ее лицо. Акушерка протягивала ей туго спеленутого Беню с его крутым лбом, его носом и этой немного как будто отдельной, как будто приклеенной нижней губою.

– Хо-ро-о-ошая девочка! – повторила акушерка, очевидно, удивляясь тому, что молодая мать не ахает и не делает ни малейшей попытки прижать к себе младенца. – Не нравится, что ли, мамаша? Обратно засунуть?

Ярко накрашенным ногтем мизинца «мамаша» дотронулась до морщинистого младенческого лба, провела наискосок, как будто хотела царапнуть.

– Горячая! – вздрогнула она. – Смотрите! Наверное, температура!

– Нету никакой температуры, – пропела акушерка. – Мы мертвых – тех, правда, совсем холодышек вытаскиваем. А эта – живая, должна быть горяченькой!

– Дайте мне! – свирепо оборвала Адела. – У вас тут такой дикий холод в палатах, детей нам уморите!

Потом она крепко заснула. Во сне увидела себя, все еще беременную; живот ее был прозрачным, как хрусталь, и там, в животе, крепко спал этот Беня, с его оттопыренной влажной губою.

– Ну, дрыхнуть-то хватит! – сказал грубый голос над ухом. – Встань, ручки умой, волосики расчеши, кормить сейчас будешь!

С трудом переставляя отечные ноги, Адела добрела до уборной, где никого не было, кроме лохматой, жадно курящей в рукав женщины лет сорока пяти с темными пятнами выступившего на халате молока.

– Когда родила? – спросила она у Аделы.

– Недавно, – надменно сказала Адела. – И вы на меня не курите.

– Да я на тебя и чихать не желаю! – вспыхнула лохматая. – Скажите, принцесса какая!

Адела подавила в себе острое желание изо всей силы ударить ее по лицу и, опустив глаза, вышла.

В палате, где, кроме Аделы, лежало еще шестеро – пятеро только что родивших и одна после операции на внутренних женских органах, – пахло сладковатым потом и слабым, едва уловимым запахом младенческих затылков, напоминающим запах сирени после дождя.

Адела высвободила из халата огромную грудь с ярко-чернильным соском.

– Держи, не вырони! – сказала медсестра и на руки ей положила младенца.

Дочь, еще безымянная, туго спеленутая, приоткрыла белесые глаза и мутно взглянула на мать. Адела почувствовала страх: взгляд был похожим на тот, который она однажды поймала у Бени, когда они молча лежали в траве и она изо всех сил вдруг оттолкнула его. Беня посмотрел на нее сквозь мутную пленку, затянувшую зрачки, и мыча, как теленок, потянулся к ней, заскользил холодными руками по ее животу, и видно было, что он ничего не соображает, ничего не видит и хочет сейчас одного: войти в ее тело, а после – хоть смерть; и, стиснув зубы, она отчаянно, с отвращением подчинилась, опрокинулась навзничь, чтоб только не видеть белесого взгляда.

Сейчас вместо Бени был этот младенец. Адела втолкнула чернильный сосок в его очень маленький рот, и тут же душа ее стала гореть, как будто на хворост плеснули бензином. Шелковое поскрипывание, с которым младенец вытягивал из ее груди жалкое, светло-желтое подобие молока, тихое дыхание, которое обдавало Аделу теплом всякий раз, когда это странное существо слегка приотрывалось, вздыхало старательно своими неумелыми губами и снова обреченно прикивало к соску, – все это было настолько новым и настолько сильно требовало от нее чего-то, что поначалу Адела растерялась: она почувствовала себя в ловушке, опять – еще хуже, чем в этом подвале, где пахло проросшей картошкой и пылью. Ей захотелось вырваться

из цепких младенческих губ, но – некуда. Младенец был всюду, везде. Не только здесь, в этой огромной палате, где чмокали ртами другие младенцы; он был до сих пор в грузном теле Аделы, внутри ее мозга, ее живота, и он тяжело налегал ей на сердце, хотя между сердцем ее и губами младенца есть грудь и есть множество ребер.

Адела подняла глаза, чтобы посмотреть, как кормят другие, но ни на одном из этих простодушных лиц не было ни боли, ни растерянности: все ворковали над неподвижными птенцами, закатывали неяркие свои глаза, заводили их под самые лбы, и шурили, и умиленно моргали. Медсестра с длинной каталкой, неприятно напоминающей катафалк, поскольку клеенка на этой каталке была ярко-черной и очень пахучей, начала отбирать новорожденных у матерей и укладывать их рядком, желая скорее свезти в отделение и там передать в посторонние руки. Ей тоже хотелось домой, к своим деткам.

– Не дам! – вдруг сказала Адела свирепо. – Она еще ест у меня. Подождете!

– Да что ей там есть? – удивилась сестра. – Там нет ничего! Еще молоко не пришло, что там есть-то?

– Оно, может, к вам не пришло! – отрубилА Адела. – Сказала: не дам! И не дам! Пусть доест.

Медсестра хотела было вспылить, накричать, но вдруг почему-то смолчала. Адела, сидящая на кровати, с туго заплетенной косой, издали похожей на толстую змею, живущую где-то в далекой пустыне, с большим, очень ярким и белым лицом, круглыми белыми руками прижимающая к голой груди своей, блестящей, как парус, от сильного солнца, внезапно упавшего прямо в палату, безмолвную дочь, очень уж выделялась. И хотя медсестра, спешащая домой и раздраженная, привыкла к любым молодым матерям, кормящим своих дочерей с сыновьями, и все они были друг другу подобны; хотя медсестра привыкла ко всем и всему (и даже тогда, когда одна простая молдавская женщина вдруг родила совершенно черного, чернее, чем уголь на шахте, младенца, и люди вокруг ужаснулись; одна медсестра оставалась спокойной и так же катала на скользкой клеенке чужое дитя не молдавского вида, как всех остальных, белокурых и красных), но сейчас, взглянув на большую, разгоряченную и разгневанную Аделу, она промолчала и даже смутилась.

Через четыре дня Аделу и дочь ее, по-прежнему безымянную, тихую, выписали из больницы. О, как она знала, *кто* там ее ждет! Как чувствовала она – сквозь этот весенний, пьяный от испарений воздух, сквозь жилы деревьев, смущенно и радостно помолодевших от острой и нежной, слегка синеватой от близкого неба листвы, сквозь равнодушные облака, проплывающие низко над городом и задевающие за его флюгеры своими пухлыми, с темными впадинами, локтями, сквозь всю эту жизнь и сквозь всё на земле, – как чувствовала она этого незначительного, никому в мире не интересного человека! Отца ее дочери, Беню Скурковича.

А он ее ждал.

Беня Скуркович не помнил, чтобы он когда-нибудь еще так волновался, как в это утро. Встав после бессонной ночи, счастливый и полный сил, которые с сегодняшнего дня должны были быть без остатка отданы его красавице-жене и маленькой новорожденной дочке, он долго плескался под краном на кухне, потом, невзирая на утренний холод, нагрел ведро воды и чисто – до скрипа – вымылся на дворе, потом долго брился и даже порезался, потом надушился, потом приоделся...

В половине двенадцатого, когда золотое, с вишневым отливом, созревшее для обожания солнце выплыло из-за облака и свесило пышную светлую голову, внимательно глядя на Бенину радость, с огромным букетом цветов в свежей «Правде» Беня стоял на газоне у больницы и ждал их: жену свою с дочерью. Держа его под руку, рядом стояла сестра его матери, Бенина тетка.

Адела, прекрасная, очень массивная женщина, вышла из родильного отделения. В руках у нее был младенец. Рядом семенила медсестра с тем цветом лица, которое встречается у людей, страдающих сердечной недостаточностью. Дыханье ее было частым, неровным.

– Важнее всего, чтоб почаще рыгала! – задыхаясь, внушала медсестра. – Покушает – сразу к себе на живот, и жди, как срыгнет.

Адела кивнула и в эту минуту увидела Бенью и тетку. Она приоткрыла рот и так же, как эта дотошная медсестра, часто и неровно задышала, а крылья красивого нежного носа покрылись вдруг сильной испариной.

– Аделочка! – пискнула тетка и побежала к ней, забыв про возраст.

Адела успела заметить, что на тетке новые белые босоножки с узкими и тесными перепонками. Бежала, как бегают гуси: вразвалку.

– Ну, дай поглядеть! Дай скорей! Ах ты, внучечка!

Медсестра откинула байковое одеяльце, и тетка ударилась в слезы.

– Ой, Господи Боже! Ой, вылитый Бенчик! Да ты ж моя деточка, мой ангелочек!

Адела молчала, потом долго терла глаза свои краем тяжелой ладони.

Говорят, что все несчастливые семьи несчастливы по-своему. Не верьте. Везде все одно. Что рай не бывает похожим на ад – доказывать нечего: разные вещи. Но вот утверждать, что чем стыть во льду, легче крутиться на угольях, – это нелепость!

Написано в книге:

*«... и грешникам место уготовано: прелютые муки, различные. Где ворам, где татям, где разбойникам. А где пияницам, где корчевницам, где блудницам, душегубницам. А блудницы пойдут во вечный огонь. А тати пойдут в великий страх. Разбойники пойдут в грозу лютую. А чародеи пойдут в тяжкий смрад. И ясти их будут змеи лютые. Сребролюбцам место – неусыпный червь. А убийцам будет скрежет зубный, а пияницы – в смолу горячую. Смехотворцы и глумословцы – на вечный плач. И всякому будет по делам его».*

Какие слова-то! Прочтешь: не забудешь.

В пристройке, которую молодая семья Бени Скурковича занимала целиком, что было нечастым везеньем (и кухня большая, и новые окна!), – царил чистый ад. Горели в огне и Адела, и Бенья, и их безответная дочка, какую Адела назло очень робкому Бене, просившему, чтобы ребенка назвали в честь мамы-покойницы Дворой, придумала странное имя – Виола, и девочка стала Виолой.

В косынке холодного синего цвета, в коротенькой кофте и юбке в горошек, Адела с утра уходила на рынок с ребенком в коляске. Хвалилась. Смотрите! Трех месяцев нет, а почти что садится. Прибавила в весе, аж врач удивился. А как не прибавить? Дочка давилась жирным материнским молоком, рвота с кислым запахом того же молока, уже свернувшегося, заливала обеих, на ковре с лиловыми цветами не отстирывались присохшие разводы. Адела бросала младенца на кресло, мокрой тряпкой подтирала пол, лицо умывала водой из-под крана и вновь приступала к кормленью. Большими красивыми пальцами сжимала горячие детские щеки, вставляла сосок в вялый рот и давила. Ребенок был огненно-красным, хрипел. Над ним возвышались тяжелые груди – почти как вершины Тибета с Казбеком. Тетка не выдерживала пронзительного младенческого крика, выскакивала, растрепанная и жалкая, из своей комнаты:

– Оставь, говорю тебе! Ведь захлебнется!

– Пошли вон отсюда! – отвечала Адела с таким наслаждением, как будто бы вопль опостылевшей тетки ей был долгожданной и сладкой наградой.

Тетка хваталась за голову, пряталась. Адела отнимала ребенка от груди:

– Ну, вот и поела! А то не хотела... А мама ведь знает, что надо покушать! А как же не кушать, раз мама велела?

Потом она туго-натуго перепеленывала Виолу и, прижав к своему лицу живой горячий сверток, осыпала его поцелуями.

– А вот наши ручки! А вот наши ножки! А где наши губки? А где наши глазки?

Затравленными глазками дочь смотрела на развеселившуюся Аделу.

– А кто это плакал? – Та не унималась. – Вот мама Виолочку – р-раз, д-два и – в ямку!

Подкидывала сверток обеими руками и ловко ловила у самого пола.

Но были и страшные дни. Адела спала на кровати, а Бенья рядом на раскладушке. В полночь Виолочку нужно было кормить. И то ли луна так безумно светила в угрюмое лицо молодой матери, то ли ночные совы кричали друг другу: «Прости-и-и! Прости-и-и!» – и этим печалили томное сердце, но только Адела вдруг словно бы вспоминала о чем-то и, прижав младенца к обнаженной груди, переводила расширенные страхом глаза свои с беззаботного Бени, который во сне обнимался с подушкой, на личико дочки, сосавшей ее молоко, и вдруг дикая злоба подступала к горлу кормящей матери, и она, закусив полную губу, вскакивала с кровати и начинала толкать мужа в плечо:

– Вставай, просыпайся, подонок!

Ошарашенный, не ждавший упреков, Бенья Скуркович садился на раскладушке и мотал рано польсевшей большой головой.

– Ах, я ненавижу тебя! – громко и задушенно стонала Адела, и судорожное рыдание начинало колотить его. – За что эта мука? За что, люди добрые?

Она стонала и плакала так безутешно, словно стояла на площади, окруженная добрыми людьми, с жалостью внимавшими ее горю, и им она, добрым, рассказывала все с самого начала: как сильно любила мерзавца, а он оказался женатым, и как отдалась она потному Бене с одной только целью: унижить мерзавца, и как он ей сделал ребенка, тот Бенья, и как она съела все спички в коробке, а мать отпоила ее молоком и вызвала брата из самой столицы... А этот ребенок... Да чтоб ему сдохнуть! Зачем ей уродка, всей мордою в Бенью?

– Адела, Аделочка! – в ужасе вскрикивал Бенья, протягивая к ней короткие руки, покрытые нежными рыжеватыми завитками.

– Уйди с глаз моих! Я сейчас удавлюсь!

Она бросала ребенка на кресло, дочь начинала икать, потом плакать, бедный отец делал неуклюжую попытку заслонить ее собою, Адела отпихивала его, рыданье ее вдруг сменялось на хохот:

– А, хочешь кормить! Ну, корми, если хочешь! А я уезжаю! С меня вас всех хватит!

Она подскакивала к шкафу и рывком отворяла его: платья и шарфики, которые Бенья успел купить ей за время короткого их несчастливого брака, взлетали на воздух, как куры с насеста.

– Адела! Аделочка! Я умоляю!

Бенья тоже плакал и, как это делают мужчины, не отирал слез руками, а втягивал их внутрь рта и проглатывал.

– Добился, подонок? – хохотала Адела, продолжая выбрасывать вещи из семейного шкафа. – Добился меня? Ну, и как? Не жалеешь?

Бледная как смерть тетка вырастала на пороге, торопливо заплетая жидкую кудрявую косичку.

– Воды ей, водички... – бормотала она.

– Уйди с глаз моих, тварь! – твердо выговаривая слово «тварь», приказывала Адела мелкой дрожью дрожавшему Бене. – Чтоб я до утра твоей морды не видела!

Бенья торопливо натягивал брюки, на майку набрасывал лыжную куртку и в тапочках на босу ногу выбежал на улицу. Луна высоко в облаках начинала гримасничать, глаза ее вдруг голубели, добрели. А совы кричали всё громче и громче, и люди за темными окнами спали, никто не выбрасывал вещи из шкафа, никто не кричал, как кричала Адела. Крест-накрест обхватив

себя короткими руками, Беня торопливо шел по улице, шаркая разношенными тапочками. Страх гнал его вдоль трамвайной линии, серебристо поблескивающей в темноте, как поблескивает ручей, журча между темными травами; потом он сворачивал в переулок и там наконец останавливался, прижимался пылающим лбом к стене чужого дома и плакал безудержно, долго и горько.

И так прошли целых три года. Летом 1955-го, когда несмолкаемо ныли дожди, долины размякли и листья от влаги свернулись в комочки, в город приехала труппа Петрозаводской оперетты. Адела к этому времени окончила музыкальное училище по классу вокала, но петь было негде и незачем: работала в детском саду музыкальным работником и там – при себе – и растила Виолу. Домой приходила в пять, а то и позже, заплаканного ребенка тащила за руку – Виолочка всхлипывала по привычке: ее то лупили, а то целовали, – с грохотом ставила на кухонный стол судки с едой, не доеденной детками, а то и припрятанной (дома пусть кормят!), сбрасывала туфли с отекавших ног, с шумом расстегивала платье и тут же кидала его прямо на пол, и, вытащив шпильки из густых, влажных и круто завившихся за день волос, сажала заплаканную Виолочку на свои беломраморные раздвинутые колени.

Виолочка задыхалась от сладкого терпкого запаха пота, сквозящего из материнских подмышек, от запаха пудры, духов и особого, напоминающего запах разогретой на солнце крапивы, запаха материнского рта, раскрытого жадно, как у людоедов. Мать ставила перед ней огромную тарелку манной каши и клала в нее очень много варенья. Из белой каша становилась ярко-красной, почти даже черной и загустевала. Виолочка знала, что сейчас ее будут кормить, и липкий холодный пот покрывал детскую спинку – особенно там, где лопатки и крылья.

– Ешь, дрянь! – своим прекрасным, звучным голосом говорила мать. – Ешь, гадина!

И в плотно сомкнутые губы дочери начинала проталкивать полную ложку окровавленного питания. Виола давилась, каша растекалась по ее груди, красные сгустки падали на материнские ноги. Адела подбирала эти сгустки и размазывала их по дочкиному лицу.

– Пока всё не съешь, ты со стула не встанешь!

Тетка, почти до конца растаявшая от ежедневных слез, тихо и скорбно поднимала с пола мокрое от пота платье Аделы, железные шпильки, чулки, смотрела с тоской на терзанья и пытки. Если по случайности обходилось без рвоты, Адела отставляла дочиста вылизанную тарелку, умывала перемазанную дочь, досуха вытирала чистым вафельным полотенцем и крепко, со звоном и хрустом, ее целовала.

На представление петрозаводской оперетты «Веселая вдова» она пошла вместе со школьной подругой, еще незамужней и тускло одетой. Когда на сцене появился граф Данило во фраке с лакированно прилизанной черноволосой головой, где нитка пробора блестела, как жемчуг, и, глядя прямо на Аделу, сидевшую в третьем ряду (Беня купил самые хорошие и дорогие билеты!), запел, усмехаясь роскошной усмешкой: «Пойду к «Максиму» я...», – у Аделы перехватило дыхание. Вся жизнь ее, оказывается, принадлежала этому человеку, его белоснежным зубам и усмешке, его очень длинным и ловким ногам, его подведенным глазам и пробору, – ему одному ее целая жизнь!

В антракте она, бросив у буфета тусклую школьную подругу, прошла прямо за кулисы и, спросив у какого-то мелкого человечка, где уборная знаменитого артиста, постучала в низкую дверь.

– Минуточку, Валя! – сказал обожаемый голос.

– Какая я Валя? – оскорбленно выдохнула Адела сквозь раздувшиеся ноздри и толкнула дверь.

Тот, за которым она решила идти на край света (и добрые люди ее не осудят), стоял перед зеркалом и осторожно расправлял наклеенные усы над тонкими выразительными губами. В зеркале он увидел неправдоподобной красоты, большую, в лиловом берете женщину.

– Вы очень красиво поете! – задыхаясь, но голосом звучным, густым и прекрасным сказала вошедшая. – Я благодарна.

Граф Данило усмехнулся еще коварнее и нежнее, чем он усмехался на сцене.

– Я тоже певица, – сказала незнакомка.

– Ах, тоже! – опомнился граф и твердой скульптурной рукою пожал ее очень горячую руку.

– Скажите, вы тоже еврей? – вдруг спросила певица.

– Я? Да, я еврей, – оторопев, но чувствуя сильное волнение в груди, прошептал граф и ближе придвинулся к ней.

– Маратик! На выход! – Кто-то на бегу стукнул в дверь графа Данилы и побежал дальше.

– Я должен идти, – раздувая ноздри почти так же широко, как Адела, сказал граф и, не удержавшись, поцеловал ее вишневые губы. – Когда я увижу тебя, дорогая?

И тут же едва не упал от пощечины. Слезы брызнули из его подведенных, цвета темного ореха, с густой поволокою глаз. Щека стала бурой, и зубы, которые были под нею, заныли.

– Да как вы посмели? – прошептала незнакомка в лиловом берете. – Я вам не какая-то там проститутка! Я честная женщина, ваша коллега!

Она порывисто повернулась и сделала шаг к двери. Уборная пахла духами и потом. Граф Данило опустил глаза и увидел ее выпуклый, как у лошади, обтянутый шелком, волнуемый зад. Он схватил ее за локоть и силой развернул к себе.

– Сегодня... как только закончим спектакль... – быстро сказал он. – Но только не здесь. Здесь, конечно, увидят. А где?

– Пустите меня! – вскрикнула незнакомка и вырвала локти из его цепких пальцев. – Не смейте искать меня! Вы негодяй!

– Марат! Ты заснул там? – Мелкий испуганный человечек, который объяснял Аделе, как найти артиста, просунул свой профиль в уборную. – Тебя же все ждут!

– Иду! – скрипнул зубами артист и, бросив Аделу, рванулся на сцену.

Размазывая краску по щекам, кусая свои воспаленные губы, глотая горячие слезы, Адела вернулась к подруге.

– Ой, я уж не знала, что думать! – залепетала подруга. – Ушла – и с концами! Он что, приставал?

– Ко мне? – надменно и звучно спросила Адела. – Ко мне не пристанешь! Мы просто коллеги.

Ей, судя по всему, сильно полюбилось это слово, и, поймав недоверчивый взгляд тусклой незамужней девушки, она повторила с нажимом:

– Коллеги!

Спектакль закончился ровно в четверть одиннадцатого. Вместе с толпой зрителей, обсуждавших поведение Розалинды и всех ее венских любовников, Адела с подругой оказались на улице. Дождя уже не было, ночь подступила, обволакивая людей своими запахами, успокаивая их своими мирными звездами, – и столько тепла, и любви, и желанья таила в себе эта ночь, эти вальсы, которые медленно стыли в сознание, и так было весело всем и безопасно, что, если бы снова пришел, скажем, Гитлер, его бы, наверное, не испугались.

– Иди! – сказала Адела подруге. – Мне нужно остаться еще здесь... по делу...

– Так я подожду, если только по делу, – кротко (а может, не кротко, а очень ехидно – кто их разберет, незамужних и тусклых?) сказала подруга. – Ты делай, что нужно, а я погуляю.

– Не нужно гулять здесь, – раздувая ноздри, повторила Адела. – Тебя ждут родители.

Подруга ушла, сторбившись, и кок нежно-серых волос надо лбом повис, как гнездо без птенцов и без самки.

Адела стояла под кроной густой, много помнившей липы – румын и австрийцев, и венских влюбленных, и красноармейцев с мандатом на обыск, – она стояла прямее, чем статуя молотобойца в московском метро или в парке культуры, не думая ни о Виоле, ни о муже, и сердце ее колотилось, как камни, которые падают вниз по ущелью.

Через полчаса граф Данило, в программе спектакля обозначенный как Вольпин Марат Моисеевич, вышел беспечно из здания театра с куском бутерброда во рту и букетом, небрежно опущенным вниз головою. Адела шагнула к нему из-под липы. Граф торопливо проглотил кусок докторской колбасы, привезенной еще из Петрозаводска.

– Я рад, что вы здесь, – щурясь и улыбаясь в темноте, бархатно сказал он, однако лицо заслонил вдруг цветами. – И как же вас звать?

– Как звать? Я Адела, – сказала Адела и вздрогнула.

– Красивое имя, – сказал граф и протянул ей руку, сильно и вкусно пахнущую недоеденным бутербродом. – Марат Моисеевич Вольпин.

Марат Моисеевич был насторожен и вежлив до крайности. Адела сверкнула глазами во тьме.

– Я бы хотел поближе познакомиться с вашим городом, – бархатно продолжал артист. – Здесь много красивого, мне говорили.

– Провинция, – хрипло ответила Адела, чувствуя, что от этого голоса у нее начинают дрожать ноги, а соски на обеих грудях становятся жаркими, как от кормления. – С Москвой не сравнить.

– Я много раз бывал в Москве, – возразил Марат Моисеевич и, придвинувшись, горячо задышал на Аделу. – В провинции тоже свое есть. Природа...

– Вы любите горы? – вдруг прямо спросила Адела

– Да, очень люблю, – прошептал граф Данило.

– Могу показать вам красивое место. Хотите сейчас?

На самом последнем, хрупко позвякивающим трамвае, который, как липа, все помнил – и венских влюбленных, и красноармейцев, – они доехали до того места, где заканчивался город и начиналась природа.

... В густой и высокой траве лежала прекрасная, белая настолько, что даже луна побледнела, как будто ей стало немного неловко своей этой ярко-оранжевой кожи, вся шелковая – шелковистой, чем травы, которых не мяла нога человека (ведь были дожди, где уж тут погуляешь!), – лежала Адела и громко стонала, рычала, кричала, хрипела, вздымалась и вновь опускалась, как делают волны, когда их то бьет диким ветром ненастья, то вдруг отпускает: плывите и смейтесь!

Графу Марату Моисеевичу Вольпину, познавшему женщин в пятнадцатилетнем возрасте и с той поры уверенному, что всё в них почти одинаково – особенно если темно и не видно, какие глаза и какие сережки, – сейчас было страшно от бездны, лежащей под ним на траве, этой белой, горячей, вскипающей, как молоко, прожигавшей все тело до боли, которую терпишь и хочешь терпеть: пусть еще прожигает.

Под утро Адела вернулась домой. Виола спала. Тетка плакала за дверью, а Беня сидел на своей раскладушке, смотрел прямо в пол, в свои рваные тапочки.

– Мы завтра разводимся, Беня, – сказала Адела. – И я уезжаю.

– А как же ребенок? – спросил ее Беня.

– Ребенок поедет со мной, – ответила Адела и, не стесняясь, начала стягивать через голову свое праздничное, но страшно измятое, мокрое платье.

– Но это ведь дочка моя, – сказал Беня.

– Ребенка тебе не отдам, – повторила Адела. – Ты даже не думай.

Тетка, которая подслушивала, не вынесла ссоры и заголосила.

– Заткнитесь! – крикнула Адела, не оборачиваясь и по-прежнему прожигая Беню своими глазами. – Ребенка разбудите!

– Уж если разбудит кто, так это ты, – прошептал Беня и, вставши на цыпочки, серый, печальный, в заношенной полосатой пижаме, с большой головой, с руками в дыплячем и нежном пуху, подошел к своей дочке и поцеловал ее спящие глазки. – Ребенок останется здесь.

Ни слова не говоря, Адела оттолкнула тетку, которая встала на пороге и мешала ей, бросилась в кухню, где на полочке рядом с умывальником лежал бритвенный прибор ее мужа Бени Скурковича, состоящий из синего пластмассового стаканчика, безопасной бритвы и наполовину вылезшего, лохматого помазка, схватила лезвие и изо всех сил полоснула себя по руке. Кровь, обрадовавшись свободе, сперва брызнула фонтаном, потом полилась очень густо и ярко, но тут прибежали и Беня, и тетка, схватили, скрутили, связали, зажали.

Адела молчала.

Через три дня Петрозаводский театр оперетты, включая летучую мышь, веера, и шляпы, и перья, отбыл восвояси. Уехал к себе, к своим финским болотам.

Неделю Адела пролежала на кровати, отвернувшись лицом к стене и стиснув зубы. Виола ходила в сквер с тихой теткой, а папа, вернувшись с работы, кормил ее ужином. На восьмой день Адела поднялась, сама стащила с антресолей пыльный чемодан, покидала туда все свои кофточки, чулки и лиловый берет, взяла пару платьев для дочки Виолы и, дождавшись утра девятого дня, когда Беня отправился на работу, а тетка – на рынок, одной рукой схватила за воротник испуганного ребенка, вся накренилась на сторону от тяжелого чемодана в другой руке и пошла на вокзал. Там она взяла два плацкартных билета, села на поезд и через трое суток оказалась в пахнущем хвойными лесами чужом городе.

И тут наступили события. Марат Моисеевич Вольпин был вдовым, но веселым и простодушным человеком. Вдовство его было внезапным и горестным. За полгода до встречи с роковой женщиной Аделой Марат Моисеевич в одной могиле похоронил умершую родами жену свою, певицу Ажадину Ольгу Васильну, а также двухдневного сына Алешу. Ольга Васильна была на шесть с половиной лет старше Марата Моисеевича, любила его очень страстной любовью, писала ему бесконечные письма, когда он бывал на далеких гастролях, надеялась жить вместе долго – и вдруг умерла, захлебнувшись от рвоты, случившейся с ней при рождении сына. Несчастный сиротка простыл той же ночью и утром невинно и кротко скончался.

После похорон Марат Моисеевич, которого друзья и родственники поддерживали с обеих сторон под руки – поскольку он, бедный, шатался от горя, – вернулся домой после долгих поминок, устроенных в оперной студии города Петрозаводска, где до самого декрета работала ничего не подозревающая Ольга Васильна, поставил перед собою фотографический портрет покойной, на котором она – в открытом блестящем платье, с блестящими локонами и круто завернутой, как вафельная трубочка, челкой – смотрела в глаза ему с нежным упреком, налил себе водки, чокнулся с портретом, звонко стукнув о стекло полной рюмкой, и тут же поклялся покойной подруге, что будет ей верен до самого гроба. Верность в сознании Марата Моисеевича состояла исключительно в отказе от брака.

Пылкая встреча с Аделой и ночь вместе с ней на траве Буковины отнюдь ничему не мешала, поэтому, когда в четверг утром, явившись, как обычно, на репетицию в театр, Марат Моисеевич вдруг обнаружил в своей уборной смертельно бледную, готовую на всё женщину и рядом – с вытянутым от постоянного страха личиком и скорбными глазами – маленькую девочку в красном пальтишке и с плюшевым зайцем, прижатым к груди, – когда он увидел всю эту картину, душа в нем заныла, как перед атакой.

– Ну, вот, – хрипло сказала Адела. – Вот мы и приехали.

Марат Моисеевич громко проглотил слюну.

– Вы, может быть, нас и не ждали? – с вызовом спросила Адела.

Марат Моисеевич затравленно забежал глазами по потолку.

– Виола, скажи дяде: «Здравствуйте!» – приказала строгая мать своему оторопевшему ребенку.

Ребенок молчал. Глаза его быстро застлало слезами.

– Скажи дяде: «Здравствуйте!» – звонко отчеканила мать.

Ребенок раскрыл свой младенческий рот и тут же беззвучно, но горько заплакал. У Марата Моисеевича зашипало в горле.

– Вот плакать не надо, – сказал он печально. – Как зайца зовут? Я уверен, что Петя!

– Как зайца зовут? – повторила Адела. – Ответь быстро дяде! Считаю до...

– Не нужно считать! – попросил Марат Моисеевич. – Ну, заяц и заяц.

Ребенок отчаянно замотал капроновым бантом:

– Его зовут Клава.

– Ах, Клава! – удивился Марат Моисеевич. – Так он, значит, девочка, что ли, твой заяц?

– Нет, Клава! – рыдая, ответил ребенок.

Марат Моисеевич опустил на корточки, достал из кармана пахнувший чужими духами носовой платок и осторожно вытер им судорожные и бледные детские щеки.

В тот день началась его новая жизнь.

Через неделю похудевший, с потухшими глазами Бенья Скуркович, который всю голову сломал, раздумывая, как ему быть: броситься ли вдогонку за Аделой, или подождать, потерпеть, пока она вернется, или, напротив, совсем успокоиться, вкусить сладость этой внезапной свободы – ведь нечего прятать суровую правду: конечно, дышалось намного свободней, и не было тяжести странной в желудке, которая как наступила когда-то, когда началась мука этого брака, так не отпускала ни днем и ни ночью, – через неделю похудевший, с потухшими глазами Бенья Скуркович получил страшное письмо:

*Не надейся, что ты еще хотя бы один раз в жизни увидишь Виолу, – писала ему Адела быстрым, бисерным почерком. – Она по ошибке была твоей дочерью. Такое ничтожество и негодяй, как ты, который не хотел, чтобы собственный ребенок родился на свет, не заслуживает того, чтобы называться отцом. И большие ты ей не отец. Я встретила человека, который полюбил меня и понял, какие страдания принесла мне жизнь с тобой, негодяем и предателем. Виола теперь носит фамилию этого человека, он усыновил ее, и я высылаю тебе копию документа, подтверждающего усыновление. Мне нужен теперь развод. Ты все равно не сможешь помешать мне сделать то, что я сделаю, и, если нужно будет переступить через ваши трупы – твой и твоей ненаглядной тетушки, которая травила меня и мою дочь, как травят клопов и тараканов, – я переступлю через ваши трупы, потому что счастье моего ребенка дороже мне всего на свете.*

*Развод можно сделать очень быстро. Для этого я должна снова приехать в проклятый город, в котором ты живешь и который я ненавижу всеми своими силами, и нас разведут в том же загсе, в котором я, неопытная дуручка, зачем-то вышла за тебя замуж. Я знаю твой предательский характер, знаю, что ты будешь мучить меня тем, что оттягиваешь наш развод, хотя ребенок тебе не нужен и ты ни разу даже не заглянул в коляску, чтобы поинтересоваться, какой там лежит ребенок; я знаю заранее, как подло ты будешь вести себя, поэтому говорю тебе сейчас: я приезжаю ровно через десять дней, то есть в воскресенье, двадцать четвертого сентября, у меня уже есть билет, а в понедельник мы с тобой пойдем в загс, и нас разведут. Я уже обо всем договорилась по телефону с начальником загса. Учти, что твои отказы и капризы не приведут ни к чему. Прощай. Твоя бывшая, оскорбленная до глубины души жена Адела.*

Беня с трудом дочитал письмо, сгорбившись, добрел до кухни, бросил письмо на стол рядом с только что принесенной с базара недавно зарезанной курицей, гордая и красивая голова которой лежала на газете рядом с туловищем, и красный гребешок успел стать лиловым и сморщенным, посмотрел на эту курицу и сказал тетке:

– Она меня просто убила.

Тетка близко поднесла письмо к старым глазам, шевеля губами, прочитала его и прошептала:

– Смотри, сколько разных людей, Беня, умерли рядом. А мы всё живем.

И тогда Беня опустился на стул – хороший старый венский стул, поскольку кухня была одновременно и столовой, – положил голову на согнутые руки и зарыдал. И тетка заплакала, но с облегчением.

А на следующий день опять пришел почтальон и принес документ из районного загса. В документе было сказано, что Вениамин Абрамович Скуркович, письменно заявивший о своем отказе от отцовства по отношению к Виоле Маратовне Вольпиной, записанной в метрике о рождении под именем Виолы Вениаминовны Скуркович, больше не считается отцом Виолы Маратовны Вольпиной и освобождается от выплаты денежных обязательств.

Копия документа, заявляющего о том, что Беня не желает больше считаться отцом своей дочери Виолы Вениаминовны и согласен передать права и обязанности в отношении ее Марату Моисеевичу Вольпину, была вложена в тот же конверт. Документ был отпечатан на машинке, стояла Бенина лиловыми чернилами выведенная подпись, число и дата.

– Бог мой! – вскрикнула тетка. – Когда же ты это писал?

– Я не писал этого, – глухо пробормотал Беня. – Это подделка. Она подделала мою подпись. И это ей так не пройдет.

Через три дня он встретил на перроне Аделу, румяную, как раскрытая роза, которую и поливают усердно, и два раза в день удобряют обильно. Увидев его, Адела сразу побледнела и еще больше выпрямилась.

– Зачем ты пришел? – выдохнула она. – Я знаю дорогу до загса.

– Ты подделала мою подпись, – сказал Беня. – Это уголовное преступление.

– Послушай меня! – ответила она. – Да, верно: подделала подпись. Но знаешь ли ты, что если на меня донести, то меня заберут в тюрьму и я оттуда уже не выйду?

– Тебе там и место, – прошептал Беня

– А что тогда будет с Виолой? – прищурившись, протянула Адела. – Виола погибнет без матери.

– Какая ты мать? – с отвращением пробормотал Беня.

– Какая я мать? – рассыпчатым эхом спросила Адела. – Я дня без нее не могу! Любого убью, кто обидит! Любого! Пускай меня рвут на клочки! Никому не отдам!

Беня поднял глаза и увидел перед собою не лицо человеческой женщины, какое бывает то лучше, то хуже – с помадой и без, подбрее, позлее, – он увидел перед собою разверзнутую бездну, которую осветила вспышка небесной молнии, и камни посыпались с воем и визгом; увидел горящий, поломанный лес с бегущим от гибели стадом бизонов, увидел развалины города Трои, которые видел вчера в кинофильме, и только высокие брови и зубы с застрявшим в них бисером черного мака (Адела дорогою съела две сайки) напомнили Бене, что это не бездна, не Троя, не буря, а все же – Адела.

Тогда Беня сдался: Адела в тюрьме, за решеткой, была бы опаснее, чем на свободе, и участь Виолы, которую мать никому не уступит – скорее умрет и ребенка уморит, – решили все дело.

После отъезда Аделы в город Петрозаводск вечером того дня, когда женщина с большими, усталыми пальцами, на одном из которых так глубоко вросло в мякоть обручальное кольцо, что даже и ноготь пожух и скривился, протянула им официальное подтверждение, что

отныне они уже не муж и жена, а просто весьма посторонние люди, – вечером этого длинного, зачем-то пронзенного солнцем и светом прозрачного, пышного дня разведенный, свободный как ветер и грустный мужчина Вениамин Абрамович Скуркович, вернувшись домой, первым делом подошел к кровати своей маленькой дочери Виолы и долго смотрел в опустевшее лоно холодной и прибранной этой кровати, и все вспоминал, где чернела косичка, а где розовел ее крохотный локоть и где – на каком расстоянии от пола – свисала горячая, круглая пятка...

Оставим, однако, на время Вениамина Абрамовича и вернемся к занявшему его место в бесхитростной жизни ребенка Марату Моисеевичу Вольпину. Всего только несколько дней назад, приходя домой после спектакля, усталый, но довольный Марат Моисеевич (если он, конечно, возвращался один) снимал с себя всё до трусов, выпивал с удовольствием рюмку армянского коньяку, стирал осторожно с висков, с подбородка остатки уже неуместного грима, заваливался на кровать и спал богатырским и радостным сном. Он был простым парнем, а жизнь таких любит.

С приездом красивой и шумной Аделы все вдруг изменилось. Теперь в этой комнате их было трое: Адела, ребенок и он. Первое время он не мог привыкнуть к тому, что вечером нужно отчитаться перед посторонней женщиной за каждую минуту проведенного без нее времени. Опаздывать было нельзя. Медовым, с красивым молдавским акцентом, чуть лживым, но очень старательным голосом Адела звонила в театр и всем говорила, что это жена и нельзя ли Марата по срочному делу... Семейному, да... На секунду буквально.

Секунд набиралось часа на четыре.

Между тем Адела уже прошла первое прослушивание в театр оперетты – и голос понравился, да и не один только голос: богиня стояла на сцене, волосы ее едва не доставали до пола, а губы были подобны спелым вишням, из которых вместе с соком текли музыкальные чудные звуки, – она прошла первое прослушивание, и бедный Марат, граф Данило, уже понимал, что Аделу возьмут, тогда она будет с ним рядом все время, всегда будет рядом, до гроба, до смерти!

И дома, в квартире, гулял ураган: все было разметано, все полыхало. На второй день, вернувшись со спектакля, Марат Моисеевич не узнал своего скромного жилища: мебель была переставлена, окна вымыты до блеска, одна из стен перекрашена в темно-бордовый цвет, и прямо на темно-бордовом была фотография: тоже Адела, однако в открытом гипюровом платье, с закинутым к небу лицом и с руками, сжимавшими веер. Богиня, что ни говорите! Богиня.

Ночами Марату Моисеевичу почти не удавалось поспать: ночами она была даже не рядом, она была в нем – нет, вернее, он в ней, – короче: ему даже стало казаться, что эти вишневые спелые губы уже не ее, а – его, и под утро он так же растягивал их в полудреме и так же облизывал их, как Адела.

Кошмар был, однако, с ребенком, с Виолой. Марат Моисеевич вскоре заметил, что бледная эта, кудрявая крошка, которая до недавнего времени не расставалась с соской, а когда у нее насильно отобрали эту соску, тихонько сосала свой собственный пальчик, боится Аделу до смерти. Животный ужас наполнял детские глаза, внешние уголки которых были немного оттянуты вниз, отчего глаза становились похожими на два полумесяца. Ужас наполнял их не только в присутствии матери, но даже от голоса, даже от звука больших материнских шагов, от шуршанья, с которым Адела снимала свой плащик, от скрипа ботинок ее по паркету!

Через месяц Виолочка заболела крупозным воспалением легких. Марат Моисеевич не узнавал жены своей в этой убитой страхом женщине, которая не спала ни одной ночи, а если дремала слегка, то только в ногах у больного ребенка, и шупала лобик ребенка ладонью, и вновь прикрывала его полотенцем с наколотым льдом, ибо детка горела... Она горела почти неделю, за которую Адела превратилась в тень: под черными глазами легли глубокие тени, волосы она не расчесывала, и они стали неотличимы от войлока, пригодного и для ковров, и для шляпок, но, главное, валенок – взрослых и детских.

– Адела! – шептал иногда удивленный, смущенный и робкий Марат Моисеич. – Поди подремли!

– Зачем? – кротко спрашивала Адела и поднимала на него некогда ярко-черные, а теперь выцветшие глаза. – Никто мне не нужен. Помрет моя дочка, и я вместе с нею. Схоронишь нас вместе, ты это умеешь!

Виолочка, однако, не померла, но, будучи буквально из могилы вытащена сильными материнскими руками, опять стала жить, как все прочие дети.

– Ешь, сволочь! – слышал Марат Моисеевич, поднимаясь по лестнице своего многоквартирного дома усталыми ногами, которыми час лишь назад он плясал на премьере цыганские танцы. – Ешь, дрянь! Ешь, Скуркович проклятый! Скорей бы ты сдохла!

Медовый и сладостный голос Аделы с ее неизбывным молдавским акцентом гремел, как гремит горный Терек; но Терек грохочет в горах, и к нему там привыкли, а здесь, в этом доме, где жили артисты, и знали друг друга, и изнемогали то от любопытства, а то и от прочих страстей человеческих, – кричать так ужасно, ничуть не стесняясь! Сгорбленный и со спины слегка даже похожий на разведенного, зато проживавшего тихо и скромно Скурковича Беню, Марат Моисеич осторожно открывал дверь своим ключом и на цыпочках заходил в прихожую.

Страшная картина открывалась его глазам. Буквально: сражение, Чудская битва. На широко расставленных мощных и круглых коленях Аделы, вся выгнувшись, красная – как обварили, – хрипела, икала Виола, закатывая глаза и уворачиваясь от ложки, наполненной жирной дымящейся кашей, а рядом была банка с красным вареньем, и то же варенье – как кровь – на коленях суровой Аделы, на щечках Виолы, и пол под столом весь заляпан вареньем.

– Она больше кушать не хочет, – миролюбиво произносил Марат Моисеевич. – Нельзя заставлять, если нет аппетита.

– Нельзя заставлять? – изумлялась Адела, резко поворачиваясь к нему вместе со стулом, коленями и согнутым наполовину ребенком. – Тогда пусть подойдет! Я не отвечаю!

Марат Моисеич шел в кухню, зажав себе уши, чтоб только не слышать:

– Ешь, сволочь! Проклятый Скуркович! Скорей бы ты сдохла! Ешь, дрянь! Ты отсюда не выйдешь!

Когда страсти успокаивались, отмывались остатки детской рвоты и комнату проветривали от сильного запаха этой рвоты, Адела со свеженакрашенными губами, в белой шелковой комбинации, какую купила у примы в театре, а та – у гримерши (а вот про гримершу никто и не знает, следы затерялись), опять подступала к Марату; богиня, она обвивала Марата руками, и он задыхался, и он уступал ей...

В труппу Петрозаводского театра оперетты Аделу Вольпину взяли, но главные роли ей не уступили, чем вызвали гнев, очень даже понятный. Несмотря на свое сильно располневшее тело, Адела чудесно плясала и пела, а веером так колдовала на сцене, как будто бы и не сидела в подвале, борщей не варила и горя не знала. Конечно, могли бы дать роли получше. Директор театра, человек женатый, седой и в годах – давно, кстати, дед, даже, может быть, прадед! – однажды сказал грубовато и нежно:

– Пойдем побалуемся, а? Что ты смотришь?

Чудо спасло его от пощечины. И ангел в лице балеринки, зачем-то впорхнувшей во тьму за кулисы, где толстый директор потел и дымился от разных бессовестных поползновений, был послан Аделе сдерживать ее руку и этим спасти старика от позора.

Но были и муки другие, покруче. Работа, в конце концов, – только работа, а вот, скажем, ревность? Да, ревность! Что, страшно? Ревность – это, кстати сказать, такая вещь, от которой даже здравомыслящий человек может на какое-то время потерять рассудок. И люди теряют. Отелло Отеллой, но он был военным, родился в провинции, черный... Короче: с Отелло все ясно. А вот вы возьмите, к примеру, театр. В театре бывает намного труднее. И в литературе –

намного труднее. И в дачном поселке. А, скажем, на БАМе? На БАМе что, просто? Нисколько не просто. Поехали люди туда за туманом, и – вот вам туман. Хоть половником ешьте.

Адела пришла в Петрозаводский театр оперетты не для того, чтобы восхищаться своим мужем Маратом Моисеевичем Вольпиным из кресел партера. Не для того, чтобы на ее глазах Марат Моисеевич Вольпин обнимался с актрисой Зубаровой, хотя и по роли ему полагалось обнять, запрокинуть (а ей поболтать в это время ногою) – и так замереть, пока им станут хлоппать. Неважно, что там полагалось по роли! Важно, что дважды разведенная Зубарова пылала всей розовой жилистой шеей, когда он ее выпускал из объятий! Адела терпела, пока ей терпелось, но силы иссякли, и она пошла прямо в гримерную к актрисе Зубаровой, которая как раз готовилась к выходу на сцену.

– Отделаю – мама тебя не узнает, – сказала Адела и ноздри раздула.

А когда Зубарова – женщина не самая тихая на свете, с прямыми ресницами рыжего цвета – вскочила из-за своего столика, рассыпав стеклянную баночку с пудрой, и обеими руками, белыми от этой пудры, стала махать перед лицом Аделы и громко шипеть: «Вон пошла, хулиганка!», Адела, не говоря больше ни слова, скрутила Зубаровой белые руки, макнула ее головой прямо в пудру, как сырник макают в муку, и сказала:

– Тебе объяснили. А дальше – как знаешь.

И вышла. И хлопнула дверью.

С каждым днем маленькая кудрявая Виолочка все больше привязывалась к своему новому папе Марату Моисеевичу, провела с ним очень счастливое время на первомайской демонстрации трудящихся (Адела болела месячными недомоганиями, да и, кроме того, у нее с тридцать девятого года сложилось подозрительное отношение ко всем торжествам и парадам вождей, ко всем русским лозунгам и достижениям); и, радуясь, что мама осталась дома, сидя у папы на плечах, Виола подряд съела два эскимо и очень победно смотрела на землю. И папа был весел. С ним рядом все время крутились блондинки и все поправляли на папочке галстук.

К сожалению, именно вскоре после этой первомайской демонстрации, запомнившейся Виоле как самое чистое, полное счастье, у Аделы Вольпиной начались серьезные конфликты с дирекцией, и Марату Моисеевичу предложили перебраться на постоянное местожительство в город Новосибирск, где тоже театр, но климат суровый. Тайно от всех Марат Моисеевич сходил потихоньку на кладбище, купил незабудки и их посадил, полил изголовья жене и сынишке, присел на скамейку, вздохнул глубоко – и вскоре вернулся обратно к Аделе.

Жизнь в городе Новосибирске началась с того, что в женской консультации Адела узнала о своей беременности. Окаменевшая от неожиданности, не понимая еще, что же теперь будет, она открыла дверь своей новой, только что полученной квартиры, где вещи, тюки, чемоданы громоздились друг на друге и синий с цветами ковер, купленный перед самым отъездом у той же гримерши, лежал, словно луг, ненароком залитый прозрачной озерной водой.

Ребенок Виола, полученный от Скурковича в результате мести и неосмотрительности, был отдан в детсад. Тихо было в квартире. Бросив прямо на пол свое модное пальто, на ощупь, как будто слепая, Адела вошла в ванную комнату, где пахло удушливой свежей краской, до краев наполнила ванну горячей водой, залезла в нее и зажмурилась. Что же? Теперь у них будет ребенок, пускай. Марат очень любит детей. Она услышала в коридоре его шаги и крикнула сильно и страстно:

– Маратик!

Муж ее осторожно заглянул в дверь.

– У нас с тобой будет ребенок, – сказала она.

У Марата Моисеевича перехватило дыхание. Вдруг вспомнилась Ольга с младенцем Алешей, и как они оба лежали в гробу, и как на младенца упала дождинка... Он опустился на

колени, положил красивую голову на горячую и мокрую руку Аделы, только что вынутую из воды, и всхлипнул.

– Ах ты, дурачок! – сладко и блаженно прошептала Адела, перебирая большими, с ярко-красным маникюром пальцами его маслянистые черные кудри. – Мальчишечка будет. Сыночек. Ты что? Ты плачешь, Марат?

Бывший граф Данило замотал головой и несколько раз поцеловал ее руку. На влажном распаренном лице Аделы воцарилось торжество. Вот так теперь будет всегда. Да, всегда. Она лежит в ванне, а он на коленях. И там, в животе, червячок с ноготок... Нет, как это там? Мальчик с пальчик? О Боже! Какое же счастье, покой, как легко! А Бенья? Где Бенья? Скажите, кто Бенья? Она негромко засмеялась, за волосы приподняла опущенную голову Марата:

– Смотри, только не изменяй, мой хороший!

Марат Моисеич опять замотал головой и опять уронил ее.

– А что ты не смотришь в глаза мне, Марат? – сладко, но тревожно спросила Адела. – Ведь я говорю: ты мне не изменяй! А ты отвернулся! Ты что, изменяешь?

Муж испуганно посмотрел на нее:

– Любимая! Богом клянусь...

Она с досадой перебила его:

– Евреям, Марат, не положено клясться. Какой ты ужасно советский, Марат! Хотя... Что уж тут... Не в Европе родился.

Марат Моисеич побледнел, несмотря на духоту.

– Я горд своей Родиной, вот что! Я горд! И дети мои будут ею горды. Виола с Алешей! Нам есть чем гордиться!

Адела шутливо плеснула на него из ладони и тяжело поднялась из воды. Теперь она стояла над ним во весь рост. Не вставая с колен, Марат Моисеевич прошептал:

– А если ты считаешь Европой место, где родилась ты, так это, Адела, такая Европа, что...

Адела выгнулась, как лебедь, и обе белоснежные руки с черным кружевом душистых волосков под мышками заломила за голову:

– *Мы* были Европой, Марат, пока *вы* не явились. Пустой у нас спор.

Она вынула из воды одну из своих беломраморных ног и пяткой потрепала Марата Моисеевича по затылку:

– Давай полотенце. И вытри меня. Мне нельзя наклоняться.

Слизывая с нижней губы вкус земляничного мыла, граф Данило почти на руках вынул из остывающей ванны эту тяжелую, всю в каплях жемчужных, всю в черных колечках, всю в нежной и скользкой несмывшейся пене высокую женщину, в теле которой, под пеной и мылом, дрожал этот птенчик.

Ночью, когда они уже засыпали и тяжелая грива ее распущенных волос заваливала половину мощной грудной клетки Марату Моисеевичу, он вдруг вспомнил о том, о чем давно собирался поговорить с нею.

– Аделочка, я коммунист, – гордо сказал Марат Моисеевич в темноту. – Я хотел бы, чтобы наши дети были коммунистами, потому что выше этого нет ничего. И нет ничего важнее, чем отдать свою жизнь за счастье угнетенного человечества. Я так их и буду воспитывать. В этом ключе. Ты согласна?

Адела глубоко вздохнула:

– Фун мэшугене гендз – мэшугене гривн...

Марат Моисеевич удивленно приподнялся на локте:

– Что ты говоришь, Адела?

– Я говорю: «От сумасшедших гусей – сумасшедшие шкварки». Так бабушка мне говорила.

– Какие еще сумасшедшие гуси? – затрясся Марат Моисеевич. – Теперь, когда у нас двое детей, к чему мне твои эти глупые штучки?

– Ну, пусть коммунисты, – миролюбиво пробормотала Адела. – Пусть хоть пионеры! По мне, лишь бы были здоровы и сыты. Но я повторяю тебе, мой родной... – Голос ее из медового и сладкого стал грубым. – Но я повторяю: ты не изменяй! А то... Ох, Марат! Я тебе не завидую!

Зима в Новосибирске наступила рано: на октябрьские пошел сильный снег, и утром седьмого ноября, когда во всех человеческих жилищах готовились к отмечанию великого праздника, и резали заранее засоленную рыбу на куски, и терли морковку – подмороженную, вяловатую – для свежих салатов, и ставили тесто в кастрюлях в самые теплые уголки, накрывали его полотенцем и часто подходили, как к живому человеку, наклонялись, заглядывали в липкое, без черт, лицо: пора бы уже и подняться! – в этот день, то есть седьмого ноября, открылся каток, и Адела с большим животом и распухшими губами стояла у окна, смотрела на улицу, по которой бежали оживленные девушки и молодые люди с коньками на веревочках, перекинутыми через острые плечи, и с нею случилось такое, чего никогда не случалось: тоска. То ли этот снег, сияющий, медленный, словно начало – о самое, самое! – «Венского вальса», а то ли чужой, недостроенный город, чужая, в снегу и дыму от мороза река вдалеке, то ли вдруг пришедшая к ней мысль, что все мы когда-то умрем: Виола умрет, нерожденный младенец, Марат и старуха, которую сейчас поднимают две вежливые заснеженные девушки, поскольку старуха упала и встать не могла, – да, все мы куда-то уйдем навсегда, нас больше не будет, и Бени не будет... Легкое отвращение, ничуть не похожее на то жгучее чувство, которое наступало сразу, лишь только отросток сознания хватывал в месиве памяти Бению, – это легкое, чтобы не сказать примирительное, отвращение напугало ее.

«Да что это я? Я совсем ослабела, – подумала она и прижала к своему горячему бедру кудрявую голову робкой Виолы. – А если и я так, как эта... Умру? Рожу и умру? Это часто бывает!»

– Пойди поиграй, – сказала она и оттолкнула Виолу, которая своим дыханием начала мешать ей думать. – Нельзя всё за мамину юбку цепляться!

Расширенным взглядом она проводила послушную дочь, которая на своих коротких, прямых и очень похожих на Бенины ногах поплелась на кухню, и тут же отчетливо увидела себя спокойно лежащей в гробу – всю в цветах и новые черные туфли надеты. Ей стало и страшно, и скучно одновременно. Со всеми так будет. Ведь ждут не дождутся быстрее закопать! Адела засмеялась невеселым, но громким смехом и вдруг почувствовала, как у нее отяжелел низ живота. Потом что-то капнуло, как из-под крана. Она подставила ладонь, и на нее полилась кровь. Она поняла, что это что-то связанное с ребенком и что-то ужасное – может быть, смерть, – и стала метаться по комнате. Телефона в новой квартире еще не было, но она знала, что на первом этаже, у одной из артисток музкомедии, есть телефон, потому что Марат попросил разрешения поздравить с днем рождения по телефону своего оставшегося в Петро-заводске двоюродного брата, и эта артистка, которой по возрасту лет девяносто, его ко всему еще чаем поила. Забыв про Виолу, она захлопнула квартирную дверь и, оставляя на каждой ступеньке по несколько капель густой темной крови, спустилась на первый этаж. Артистка музкомедии с двумя островками былой красоты в виде глаз – огромных фиалок и очень лучистых, – в розовом коротком халатике, как будто она живет не на первом этаже многоквартирного дома в суровом советском городе Новосибирске, а где-нибудь, скажем, в далеком Сорренто, и ест виноград, и купается в море, поэтому ей так и нужен халатик (пошла, окунулась в лазоревых водах – и снова легла на плетеное кресло), вот эта артистка открыла Виоле, увидела кровь, образовавшую небольшую лужицу у самой двери, схватилась за щеки и бросилась сразу звонить в «неотложку».

«Неотложка» приехала одновременно с Маратом Моисеевичем, который лихо спрыгнул с подножки трамвая, слегка подмигнув золотисто-румяной, как персик, девчонке, и, неприятно

растревожившись от вида медицинской машины, стоящей у его нового дома, вошел осторожно в подъезд, из которого навстречу ему два санитары выводили под руки бледную, на подогнувшихся ногах жену его Аделу Вольпину.

– Пропусти, парень, – грубо сказал ему один из санитаров, – обождать не можешь? Видишь – больного спускаем.

Марат Моисеевич прижался к ледяному столбику, подпирающему навес над подъездом. Адела повела на него особенно черным на фоне белизны новосибирского снега глазом и кротко сказала:

– Теряем ребенка.

Марат Моисеевич ахнул и хотел было рвануться за ней в эту медицинскую машину, но Адела остановила его дрожащей рукой:

– Там дочка одна. Иди лучше к дочке, Маратик.

К полуночи Марат Моисеевич узнал, что жена его оставлена в больнице с диагнозом «угроза непреднамеренного прерывания беременности» и будет лежать там не менее чем шесть-семь недель. Посетители не допускаются, поскольку зима, повышенная опасность вирусных заболеваний и, кроме того, карантин. Передачи принимаются раз в день, список продуктов строго ограничен. Артист Вольпин схватился за свои маслянистые черные виски. Кроме тревоги за будущее Аделы и нерожденного сына, тревога по поводу того, как он проживет эти шесть недель, кто будет возиться с несчастной Виолой, пока он играет в театре, ударила в голову так, как в ствол ударяет внезапная молния и тут же насквозь прожигает его. Собравшись с силами, Марат Моисеевич написал Аделе осторожную записку с вопросом, как быть и что делать.

*Человек мой самый любимый на свете!* – ответила ему Адела мелким и красивым почерком. – *Я отдала бы жизнь, чтобы помочь тебе, но рождение нашего сына поставлено под угрозу. Я должна лежать с подвязанными сверху ногами и ждать. Врачи говорят, что это единственный способ. Если бы Виолу можно было поместить сюда, в мою палату, она могла бы здесь играть, и я бы следила за тем, что она кушает. Кормят ужасно, но ты должен с сегодняшнего дня покупать все на рынке, который называется «Хитрый рынок», и я уже была на нем вчера, пока ты репетировал. Может быть, я и надорвалась там, подняв целый мешок картошки. Другим женищинам не приходится таскать на себе продукты с Хитрого рынка, потому что у них для этого есть любящие и заботливые мужья. Но я привыкла к тому, что обо мне никто никогда не думает. Теперь тебе придется подумать о ребенке, у которого, кроме тебя, нет никого в целом белом свете. Мать ее лежит в больнице, и есть угроза для моей жизни. Слава богу, что у нашей дочери есть отец! Ни секунды не сомневаюсь, что ты ничего не пожалеешь ни для ее здоровья, ни для ее жизни. Спроси в театре, кто может отдать тебе на время свою домашнюю работницу, которая не будет воровать. Я знаю, что домашние работницы часто меняются и служат то в одном, то в другом доме, и очень много женищин приезжает сейчас из деревень, потому что всем ведь нужно зарабатывать. Тебе нетрудно будет найти такую женищину. Но я умоляю тебя, дорогой, не смей никого впускать в дом, если ты не знаешь этого человека! Никогда не бери в дом женищину моложе шестидесяти двух лет. А еще лучше – семидесяти. У таких людей всегда большой опыт, а Виола – очень непростой и капризный ребенок. Я буду ждать от тебя новостей.*

*Целую тебя очень крепко и много, много раз.*

*Твоя любящая и верная жена*

*Адела.*

Две балерины из кордебалета, которые много лет жили вместе, предложили Марату Моисеевичу младшую сестру своей проверенной немолодой домашней работницы Аннушки, которая как раз жаловалась, что сестра ее Вера Потапова недавно развелась с алкоголиком-мужем,

работает в больнице ночной нянечкой, но денег не хватает, и она с радостью поможет известному артисту Вольпину, пока его жена Адела находится в стационаре с подозрением на непреднамеренное прерывание беременности. Марат Моисеевич согласился почти с восторгом, написал Аделе записку, что Веру Потапову видел, лицом очень нехороша, а фигурой и того хуже, припадает на левую ногу и в детстве болела какой-то болезнью, поэтому изредка дергает шейю; но женщина скромная, дочку Виолу вдруг так полюбила, как будто родную. Читая это восторженное письмо, Адела Вольпина нахмурила высокие черные брови и закусила губу: слишком уж пылко расписывал муж, граф Данило, лицо и фигуру Потаповой Веры. Совсем получилась убогая женщина. Однако искать сейчас, второпях, другую какую-то мужу помощницу, к тому же и лежа в больнице с задранными кверху и подвязанными ногами, Адела не могла. Пришлось написать, что согласна. В понедельник Вера Потапова должна была ни свет ни заря появиться в новой квартире Вольпиных с тем, чтобы отвести Виолочку в детский сад, приготовить еду и прибраться в жилище. С ужасом Адела Вольпина представила себе, как, дергая по неизвестной причине шейю, чужая хромая живет в ее доме, готовит кисель ее мужу, стирает ему все трусы и рубашки и кормит несчастную дочку Виолу. Она потеряла покой. Увидеть бы ей эту самую Веру!

Несколько ночей Адела не смыкала глаз. Ночь темная, долгая в Новосибирске, и снег валит так, что ни зги не увидишь. Адела стонала, как зверь в своей клетке, приходя в отчаяние от беспомощности, пока одна свежая сильная мысль, родившаяся отчасти при помощи оперетты, вдруг не охватила ее. В столовой больницы работала баба, до странности похожая на Аделу Вольпину – такая же мощная, черноволосая, хотя при ненужном с Аделой сходстве совсем некрасивая. Баба, как рассказывали, вела непутевую жизнь, попивала, и если бы не постоянное заступничество главврача Парфена Андреича, не видеть бы ей никакой медицины, а лучше сказать, пищевой сытной точки. Написав своему доверчивому мужу-артисту, что здесь, в больнице, не допросишься даже пирамидону, если не сунешь вовремя рубль медсестре или нянечке, Адела дождалась, пока щедрый и ничего для нее не жалеющий муж передал ей десять рублей в конверте, и тут же ответила ему короткой, горячей от слез запиской, что бросила деньги на тумбочку, вышла в уборную, тут же вернулась и – всё: ни конверта, ни денег. Безропотный муж передал еще десять. Адела с трудом поднялась, накрашила губы вишневой помадой и очень разлапистой, грузной походкой, держась за живот, пошла к бабе. Баба курила «Беломор», жарко дышала в открытое настежь окно и очень при этом ругалась с верзилкой, который в наброшенном белом халате шел с ведрами по направлению к моргу.

– Хочу вас попросить о маленьком одолжении, – сладко сказала Адела, но вдруг ухватилась за грудь и закашлялась.

– Чего? – спросила ее невеселая баба.

– Мне нужно, – понизила голос Адела, склоняя вишневые губы к неряшливо пахнущим сеном ноздрям собеседницы, – на пару часов выйти в город. На пару! А может, и меньше. Наверное: меньше.

– А мне что за дело? – ответила ей незнакомая баба.

И тут Адела совсем понизила голос и несколько минут, не отрываясь, шептала пьющей работнице столовой свои объяснения. А баба угрюмо кивала.

Настала сибирская жгучая ночь. Мороз обжигал. В половине двенадцатого ночи Адела в огромном тулупе и валенках, обвязанная пуховым платком, очень тихо, боясь разбудить, открыла ключом дверь квартиры. В кухне, где полагалось спать на раскладушке Вере Потаповой, никого не было, и чистота плиты, накрытого клеенкой стола, блеск кастрюль, надраенных, словно созвездия в небе, поразили Аделу. В маленькой комнате, свернувшись, как кот, спала дочка Виола. Адела по привычке пошупала ей лоб: температуры не было, но нижняя губа, оттопыренная точно так же, как у проклятого Скурковича, была как всегда и ничуть не менялась. Ей стало жарко, и она скинула на плечи заснеженный, весь в голубых и сиреневых искрах пла-

ток незадачливой бабы. Потом очень тихо, совсем незаметно, открыла дверь спальни. Страшная картина предстала ее глазам.

На кровати, которую она выбирала с любовью и каждую дощечку на которой много раз прощупала заботливыми руками, лежал, крепко спал своим сном богатырским неверный – о, подлю неверный, о, гнусный! – с горбинкой на смуглом носу и с кудрями, законный ей муж Марат Вольпин. А рядом, внутри этой чудной кровати, спиной к артисту, положив голову на его мускулистую худощавую руку и всюю спиною к нему прижимаясь, спала моложавая Вера Потапова. Пол под Аделой зашатался, как подвесной мост над водоемом, она ухватилась руками за стену. Вера Потапова сладко потянулась во сне, повернулась к Марату Моисеевичу передом и, продолжая спать, уткнулась лицом в его сильную грудь. Адела пошла на кухню, отодвинула ящик, ощупью отыскала в нем нож для разделывания мяса и рыбы и вернулась в спальню. Но в спальне горел уже свет; Вера Потапова, похожая на молодого бычка своими широко расставленными глазами, сидела на кровати, свесив голые ноги с некрасивыми крестьянскими пальцами, и в ужасе прижимала подушку к совсем обнаженной груди. Марат Моисеевич торопливо натягивал брюки и что-то уже говорил громким басом. Увидев вошедшую, в огромных мокрых валенках, с которых текло прямо на пол, Аделу, они побелели и замерли оба.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.